

*Николай БИРЮКОВ,
Виктор СЕРГЕЕВ*

Демократия и соборность: представительная власть в традиционной российской и советской политической культуре *

Парадокс устойчивости

Советская политическая культура формировалась на протяжении десятилетий под влиянием различных факторов, важнейшими из которых были политические и идеологические традиции царской России, а также политическая идеология и реальность в самом Советском Союзе. Соотношение последних было во многом парадоксально. Идеологическое обоснование советской политической системы — теория марксизма — пришло извне. Однако западному обществу, где эта теория возникла и первоначально развивалась, основанная на ней политическая система социализма оказалась чуждой. В России же, куда теория марксизма была импортирована, она прижилась и, более того, продемонстрировала необыкновенную живучесть. Казалось бы, всего одной катастрофы, вроде голода 30-х годов или поражений первого этапа Великой Отечественной войны, было достаточно для того, чтобы пало любое правительство — демократическое или деспотическое. Сталинский режим уцелел без видимых потрясений. Как это могло произойти?

Ответ на этот вопрос искали все, кто размышлял о природе советского общества и его политического строя. Существующие точки зрения можно свести к двум основным позициям. Согласно одной из них, советская политическая система представляла собой тоталитарный строй, который держался прежде всего и главным образом на насилии¹. Неэффективный сам по себе (за исключением, может быть, некоторых экстремальных ситуаций) тоталитарный режим избегал неотвратимого и немедленного коллапса лишь потому, что заблаговременно и скрупулезно ликвидировал любой потенциальный источник угрозы своему существованию. Недовольство сложившимися порядками, даже если оно возникало в опре-

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

¹ Классическим образцом такого подхода является работа Arendt H. *The origin of Totalitarianism*. Cleveland, 1958. См. также публицистику периода перестройки, например, Гозман Л., Эткин Л. *От власти культа к власти людей*. «Нева», 1989, № 7.

Бирюков Н. М. — кандидат философских наук, доцент кафедры Московского государственного института международных отношений (Университета).

Сергеев В. М. — доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук, заместитель директора Аналитического центра по научной и промышленной политике РАН.

деленных социальных слоях или в обществе в целом, не принимало формы политического действия и не вело к открытой конфронтации с властями, так как любые поползновения в этом направлении пресекались задолго до того, как могли возникнуть реальные структуры, способные к решительным действиям.

Однако сама по себе ссылка на насилие еще ничего не объясняет. Во-первых, насилие может осуществлять лишь тот, кто имеет силу. Между тем вопрос состоит именно в том, чтобы понять, из каких источников черпал силу советский режим. Во-вторых, насилие в таких масштабах, которые дали бы нам право говорить о чисто насильственном характере этого режима, по существу, имело место лишь до середины пятидесятих годов, т. е. на протяжении первых тридцати пяти лет его существования. Можно возразить, что это и было первоначальной целью чудовищных репрессий — подавить не только малейшее сопротивление, но и самую волю к сопротивлению. Но подобное возражение равносильно признанию того, что сталинский режим сумел создать адекватную себе политическую культуру и тем самым обрел легитимность.

Альтернативное объяснение устойчивости советской власти апеллирует к особым свойствам русского национального характера. Согласно этой точке зрения, русский народ на протяжении столетий жил в условиях, которые выработали в нем особую покорность авторитарной власти и веру в спасительную роль такой власти, без которой якобы невозможно было самое выживание нации². Сформулированная в виде тезиса о «раболепии русской души» эта точка зрения обычно вызывает крайнюю степень раздражения и возмущения со стороны тех, кто считает себя русскими патриотами. По нашему мнению, дело, конечно, не в «душе», а в традиционной русской *политической культуре*, механизмы трансляции которой, в принципе, поддаются рациональному описанию и объяснению. Без анализа традиционной политической культуры и составляющих ее *предустановок* понимание политического развития в до- и послеперестроечный период будет по меньшей мере неполным.

Предустановки — это модели социальной реальности, которые, как правило, не являются объектом сознательного осмысления и выбора субъектов политического действия, не подлежат их логическому анализу и критике, но обладают внутренней логикой, которая допускает или исключает определенные трансформации и адаптации. Попытка внедрить в политическое сознание тезис, логически противоречащий предустановке, обычно терпит неудачу: на уровне сознательной аргументации противоречие легко выявляется, но разрешить его, не отказавшись от предустановки, почти невозможно. Легче отбросить сам тезис. Массовое сознание оказывается поэтому наиболее восприимчивым к тем идеям, которые согласуются с предустановкой.

Народность в русской политической традиции

Одной из центральных идей русской политической культуры в том виде, в котором она сложилась к концу XIX века, являлась, несомненно, идея *народности*. Лозунг народности красовался равно на знаменах реакции и революции. Конечно, содержание идеи «народности» и само понимание того, что такое народ, кто его составляет, каковы его интересы, у отдельных социальных групп далеко не совпадали. Но существенным представляется сама апелляция к народу, являвшаяся стержнем политического сознания и окружения российских императоров, начиная с Николая I, и революционеров-демократов, в особенности народников.

В основе этой ориентации на народ лежало имплицитное убеждение в том, что народ — это не просто наши «страждущие братья», о которых более благополучные их сограждане должны заботиться и участь которых они должны стремиться облегчить. **Народ** — нечто несравненно большее. Он — носитель единственной

² См. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990; Нестеров Ф. Ф. Связь времен: опыт исторической публицистики. М., 1980.

истины, высшей мудрости, недоступной представителям «образованных классов» несмотря на всю их утонченность и все их познания³.

Приложение концепции народной мудрости к политике и создает специфическую предубежденность, которую следует отличать от общедемократической идеологии народного суверенитета, как она была сформулирована в классической западной политической науке. Идеология народного суверенитета мотивировалась, с одной стороны, логической необходимостью определить высший источник законности, с другой — демократическим выбором ряда ее теоретиков. Чего не было у западных либералов — защитников идеи народного суверенитета, — так это претензии на то, что народ изначально и всегда прав в когнитивном смысле, т. е. «*владеет истиной*» в обычном, общечеловеческом значении слова.

Для номиналиста Т. Гоббса в политике (равно как и в морали или в любых других ценностных формах сознания) не бывает «истинных» или «ложных» решений. Можно говорить лишь о «правильных» или «неправильных» решениях, но значение слова «правильный» отнюдь не совпадает со значением слова «истинный», равно как «неправильный» не означает «ошибочный». Соответственно, процедура определения народной воли не понимается и не может пониматься как поиск истинного решения. Народ может ошибаться, но его воля все равно должна рассматриваться как высший источник законной власти просто потому, что народ — суверен и право выбора принадлежит именно ему. Вопрос установления воли народа не есть вопрос соответствия принятого решения некоей трансцендентной (по отношению к участвующим в выборе индивидам) реальности, а есть лишь вопрос адекватности, *социальной приемлемости* использованной при этом процедуры⁴.

Иначе обстоит дело, если народ рассматривается как носитель и источник высшей мудрости — Правды, т. е. если его воля трактуется с позиций философской теории «*реализма*» (в средневековом значении этого термина). Такое отношение к народу — вполне определенная социальная онтология, принятие которой влечет за собой серьезные идеологические и политические последствия. В этом случае народ прав изначально, и, собственно говоря, никаких процедур для установления этой правды не нужно вообще. Однако такая позиция содержит в себе существенное противоречие. Во-первых, народ при таком подходе отнюдь не волен выбрать то, что он считает для себя лучшим. Он выступает не как творец истории, а как своеобразный эксперт, пожалуй, даже правильное сказать — оракул, почему-то лучше других информированный насчет того, как надо историю делать. Во-вторых, народ (понимаемый как носитель Правды) не может быть ни отождествлен с эмпирическим индивидом, ни представлен таковым, поскольку мнения и суждения любого конкретного человека подвержены заблуждениям и не может быть никакого разумного основания делать в этом отношении исключения для малограмотных выходцев из народа. (Рациональным выходом из возникшей дилеммы был бы отказ от самой идеи монополии народа на высшую истину, но такой выход неприемлем для данной предубежденности политического сознания.) Поэтому формируется парадоксальное мировосприятие, при котором народ как целое Правдой обладает, а разделенный на составляющие его группы и на индивидов — нет.

В рамках этого мировосприятия и в соответствии с духом реализма народ как целое приобретает особый онтологический статус, отличный от статуса индивида, социальной группы и даже того же народа, рассматриваемого как конкретно-историческое образование (например в виде нации). Постулируется изначальное единство народа как некое мистическое свойство, не подлежащее рациональному истолкованию и рациональной критике. Такая предубежденность, будучи приложена к политике, приводит к гипостазированию политической роли народа, трактуемо-

³ См. Б е р д я е в Н. А. Русская идея. «О России и русской философской культуре». М., 1990, а также Л о с с к и й Н. О. Условия абсолютного добра. М., 1991.

⁴ См. Г о б б с Т. Левифан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. М., 1991.

го как *мистическое единство*⁵. Народ как целое наделяется определенными политическими функциями, причем осуществление этих функций зависит только от того, будет сохранено исходное единство или нет.

При всей внешней «демократичности» этой народолюбивой позиции выводы из нее следуют отнюдь не демократические. Мало того, что нарушается один из основополагающих принципов демократического общежития — гарантия прав меньшинства, так как несогласное с мнением народа меньшинство в этом случае правомерно рассматривать как кучку еретиков или отщепенцев (со всеми вытекающими отсюда «оргвыводами»). Но и само большинство, строго говоря, никакими особыми правами не обладает и даже претендовать на них не может. Уважение к воле большинства определяется не тем, что она высказана большинством, а тем, что она является выражением объективной Правды. Вопрос о субъективной правоте или неправоте большинства просто не встает, а составляющие большинство субъекты как таковые никого не интересуют. Они представляют ценность только в совокупности. Значима при таком подходе не личность (в том числе личность человека из «народа», не говоря уж о выходцах из привилегированных социальных слоев), а некая целокупность, народом именуемая. Такое *народопоклонство* нисколько не препятствует, например, репрессиям против тех или иных представителей и целых групп народа (борьба с повстанцами Вандеи в якобинской Франции, подавление «кулацких» мятежей в послеоктябрьской России и т. д.).

И совершенно никакого отношения указанное мировоззрение не имеет к демократии, понимаемой как совокупность процедур, призванных выявить и реализовать волю народа. Такие процедуры представляются необходимыми в том случае, если народ рассматривается как *конкретное* социальное образование, состоящее из каких-то частей, групп, индивидов. Несовпадение мнений этих групп и индивидов по самым разным вопросам представляется вполне естественным и рассматривается как состояние, из которого должен быть найден выход. Демократические процедуры, конечно, не являются единственным возможным средством поиска такого выхода, но коль скоро они приняты, требуется выработка решения, которое было бы общеприемлемым именно потому, что оно должно стать общеобязательным.

Однако если народ рассматривается как некая нерасчлененная тотальность (и даже само стремление как-то дифференцировать народ предается анафеме), отпадает необходимость поиска взаимосогласованного решения. Последнее мыслится как *очевидное* и потому обладающее принудительной обязательностью по отношению ко всем, в том числе и к тем, от кого оно, вроде бы, исходит. Единственная «процедура», которая тут может понадобиться,— это само обеспечение «тотальности», т. е. собрание представителей, выражающих общую волю народа. Отсюда идея соборности — центральная идея данного типа политического мироощущения.

Соборность и марксизм

Выше мы рассмотрели идею соборности в ее отношении к народности. Теперь настал черед выяснить ее отношения с русским марксизмом.

Термин «соборность» при всем многообразии его значений и оттенков естественным образом ассоциируется с названием представительных учреждений средневекового Московского государства⁶. В свою очередь, русские средневековые соборы исторически развились из церковных институтов. Этот термин, как известно, и сегодня используется для обозначения собраний иерархов церкви. Но еще

⁵ Ср. у Бердяева: «Для религиозного народничества народ есть некий мистический организм, уходящий и в глубь земли, и в глубь духа» (Бердяев Н. А. Русская идея, с. 131).

⁶ Сводку исторических сведений о земских соборах и обзор отечественной и зарубежной историографии вопроса см. Ч е р е п н и н Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI—XVII веках. М., 1978.

важнее, пожалуй, то, что само слово «собор» представляет собой кальку с греческого *ekklesia*, т. е. церковь: оба означают «собрание».

Ориентация на модель церковного собора при учреждении представительного политического института не может остаться без последствий. Сколь бы ни были разнородны группировки, в которые объединяются участники собора, сколь бы острый характер ни приобретали порой ведущиеся там дискуссии, за всеми разногласиями, за всей полемикой маячит идеал *высшей истины*, к которой должны устремляться помыслы и усилия. Церковный собор созывается не для того, чтобы совместными усилиями выработать сбалансированное решение, приемлемое для всех или хотя бы для большинства, не для того, чтобы достичь компромисса путем переговоров и взаимных уступок, и не для того, чтобы вынести спорный вопрос на голосование или защитить интересы своих членов. Ни одна из этих процедур, соответствующих эгалитаристским стандартам современной демократии, задачей собора не является и являться не может. Ибо цель собора — не представительство интересов церкви или общества, или своих членов, а выявление имеющей священный характер истины. Он олицетворяет собой духовное единство своих членов, а не разнообразие их интересов. В чем-то он ближе к научному семинару, где никто не пытается искать истину путем демократических процедур (таких, как голосование), чем к парламенту.

Средневековый земский собор в России, разумеется, и не претендовал на то, чтобы считаться демократическим институтом. Впрочем, это в равной мере относится и к другим европейским представительным собраниям, будь то английский парламент, французские Генеральные Штаты или арагонские и кастильские Кортесы. Но со времен существования последних прошли столетия. Как бы мы ни оценивали исходные формы представительных учреждений Западной Европы, то, чем они являются сегодня, результат длительной эволюции. Российские земские соборы возможности такой эволюции не получили. Даже с чисто хронологической точки зрения их история оказалась слишком короткой по сравнению с историей аналогичных европейских учреждений: она почти целиком укладывается в одно столетие (1549—1684 годы)⁷. К тому же соборы оставались эпизодическим институтом, созываемым нерегулярно, по случаю. Лишь в периоды острейших кризисов, когда страна оказывалась на пороге общенациональной катастрофы, они получали возможность играть заметную политическую роль.

В этих условиях участники соборов не рассматривались, собственно, как представители своих избирателей, своих партий и даже своих сословий. Собор олицетворял гражданское общество *в целом*, он был как бы символическим заместителем народа в его отношениях с правительством. Его важнейшей функцией было восстановление союза между народом и властью, утраченного в политических неурядицах и потрясениях. В таких условиях участникам собора, естественно, и в голову не могло прийти попытаться взять на себя роль «оппозиции», не говоря уж о том, чтобы допустить существование в своих рядах каких-то «фракций».

Последующая эволюция России к неограниченному самодержавию вообще не оставила земским соборам какого бы то ни было места на политической сцене. С 1684 года они более не созывались, и лишь к концу XIX века идея «соборности» была реставрирована интеллигенцией и стала играть заметную роль в русской политической философии. Сформулированная мыслителями-идеалистами либерального направления она была противопоставлена индивидуализму, в котором усматривали основной грех секуляризованной западной (неправославной) культуры. Словом «соборность» стали обозначать некое мистическое единство рода человеческого, образцом и воплощением которого являлась коллективистская тотальность русской деревенской общины — *мира*.

Идея соборности, разумеется, не была «изобретением» русских философов. Они «извлекли» ее из массового, в основе своей религиозного, сознания. Будущим триумфаторам Октября также пришлось иметь дело с этим сознанием и в нем в

⁷ См. Черепнин Л. В. Указ. соч., с. 382—384.

конечном счете искать опору своим политическим действиям. Возникает, однако, вопрос, каким образом само это сознание так быстро и легко адаптировалось, казалось бы, совершенно чуждую ему идеологию марксизма. Несомненно, что процесс адаптации облегчался наличием сходных моментов и частичным совпадением политической риторики. Но сыграли свою роль и идеологические опосредования, в том числе и идеологическая генеалогия марксизма.

Отношение марксистов к религиозным мыслителям, из круга которых вышла идея соборности, было неизменно враждебным: их рассматривали как идейных противников и классовых врагов. Но вопреки тому, что намеки на родство с воззрениями -дореволюционной религиозно-идеалистической философии воинствующие материалисты-большевики, разумеется, отрицали и сам термин «соборности», в их публицистике никогда не употреблялся, идеал «единства», «общности», «коммунии» был им совсем не чужд. В конце концов, это был их главный лозунг, он дал название как самому движению, так и возглавившей его партии.

Здесь нелишним будет отметить, что хотя марксистская традиция в общественном ведении справедливо связывается с идеями классового расслоения общества и классовой борьбы, само расслоение неизменно трактуется в марксизме как *социальное зло*, подлежащее уничтожению революционным путем, а классовая борьба пролетариата — как средство создания однородного (бесклассового) общества. В этом обществе без труда просматривается тот самый идеал «соборности», который стал основой своеобразной национальной политической утопии.

Успех пропаганды марксизма объясняется также структурными параллелями между этой теорией (точнее, некоторыми ее аспектами) и политическим сознанием русской интеллигенции. Особенно импонировала будущим русским марксистам риторика народовластия. Надо сказать, что в теоретическом наследии К. Маркса последняя большая роли не играет. Маркс даже гордился тем, что его идеи вытекают не из особой любви к народу, а из научного анализа фактов общественной жизни («научной объективности»). Настроениям русской революционной интеллигенции были сродни, скорее, не «объективизм» и «научность», а политическая пристрастность Маркса, активно высказывавшегося в поддержку революционных движений, где бы они ни происходили, независимо от того, насколько эти движения укладывались в его социологические схемы и в какой степени их идеология соответствовала его собственной доктрине.

В марксизме XIX века полезно различать два существенно разных компонента: социологическую *доктрину* (марксизм в собственном — узком — смысле слова) и «*якобинский дух*», разделяемый им с представителями самых разных политико-идеологических течений. Наличие той или другой общей составляющей делало марксизм релевантным и привлекательным для тех течений революционной мысли, которые по своему генезису, социальной базе и идеологическим установкам были от него весьма далеки.

Русская социальная философия и марксизм имели общий источник — немецкую классическую философию. Зависимость Маркса от Г. Гегеля и Л. Фейербаха общеизвестна, неоднократно подчеркивалась самим Марксом, а также Энгельсом, и не нуждается в аргументации. Общеизвестно и воздействие философии Ф. Шеллинга на становление русской философской мысли в XIX веке, особенно его влияние на славянофилов⁸. При всех различиях между Шеллингом и Гегелем исходные моменты их философских систем были весьма близки. Определяющим мотивом этих систем была диалектически трактуемая *тотальность* бытия. Данный мотив полностью отсутствует, например, в онтологии и гносеологии И. Канта

⁸ См. Каменский З. А. Русская философия начала XIX века и Шеллинг. М., 1980 его же. Московский кружок Любоמודров. М., 1980.

(появляясь лишь в эстетике этого мыслителя). Примечательно, что влияние Канта на русскую мысль было сравнительно невелико и характерным образом ограничивалось как раз романтически интерпретированной эстетикой. Марксизм и славянофильство, таким образом, были связаны на уровне *моделей построения* философских систем.

Другой канал влияния связан с «якобинским духом» марксизма. Нет необходимости подчеркивать то воздействие, которое оказала на становление якобинской идеологии философия Ж.-Ж. Руссо, прежде всего его концепция общественного договора. Не разделявший номиналистических установок своих предшественников — английских либералов — Руссо внес в концепцию общественного договора, разработанную Гоббсом, существенное изменение, связанное с понятием *общей воли*.

Для Гоббса воля народа, отчуждаемая в пользу будущего законного носителя суверенной власти, едина лишь постольку, поскольку интересы всех индивидов совпадают. Область этого совпадения ограничена и сводится к общей для всех озабоченности личной безопасностью. Собственно, это забота и побуждает народ как носителя суверенной воли ставить над собой постороннюю власть⁹. Гоббс явно не рассчитывает на добровольное согласие граждан с каждым отдельным решением власти. Он, следовательно, не выводит содержания ее решений из воли народа, настаивая лишь на том, что народ, поставивший над собой власть, тем самым взял на себя обязательство подчиниться этой власти и должен свое обязательство выполнять.

Руссо такая позиция не устраивала. Мало того, что она могла служить идеологическим оправданием абсолютной монархии (в конкретном случае Гоббса так оно и было). Эта позиция оказывалась в непримиримом противоречии с руссоистской концепцией социальной реальности. Натурализм Руссо был основой его реализма. Для Руссо общая воля не могла быть изначально неопределенной: она должна была естественным образом вытекать из *природы* общества. Для Гоббса носитель природной сущности — индивид, а общество есть некий монстр, Левиафан, искусственный квази-организм, обязанный в целях самосохранения следовать законам бытия организмов, но не способный обеспечить эту законосообразность естественным образом. Для Руссо общество — организм в прямом смысле этого слова. Уподобив общество организму, Руссо вполне последовательно ставит вопрос о естественных интересах этого организма как целого¹⁰. Общая воля и является выражением этих интересов.

Организмическая метафора обуславливает уподобление отдельных граждан (или их групп) частям или органам социального организма. Последние могут, конечно, иметь свои специфические «интересы». Но интересы эти, хотя и естественны, являются второстепенными с общественной точки зрения и должны подчиняться *общему* интересу. При таком истолковании общей воли — как воли целого — противопоставление ее воле отдельных граждан не утрачивает смысла даже в том случае, если речь идет о «суммарной» воле всех граждан, взятой в совокупности. Отсюда — противопоставление общего интереса не только частному интересу как таковому, но и *совокупности* частных интересов, отсюда — пафос общественности, утверждение приоритета общего над частным, столь характерное для риторики учеников Руссо — якобинцев — и столь болезненно проявившееся в период их политического господства.

Марксов взгляд на общество, по видимости, значительно отличается от взгляда Руссо. Организмическая метафора Марксу чужда, а его трактовка «общего интереса» известна: поскольку общество расколото, частный интерес принимает форму *иллюзорного* общего интереса¹¹. Настаивая на классовом характере общественных проблем и путей их разрешения, Маркс не хочет выдавать классовый интерес за всеобщий. Он не осуждает частный интерес только за то, что тот частный. Интерес пролетариата — тоже частный. Но партикулярность этого интереса преодолевается в его глазах иным — величием *исторической миссии* пролетариата.

⁹ См. Гоббс. Т. Указ. соч.

¹⁰ См. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права. Антология мировой философии в 4-х томах. Т. 2. М., 1970.

¹¹ См. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Соч., т. 3. М., 1955, с. 32—33.

Маркс неоднократно подчеркивает, что в процессе осуществления этой миссии пролетариат, которому, как известно, «нечего терять», поднимается над своим партикулярным интересом и выполняет некую общечеловеческую функцию. Но это значит, что в конечном итоге узкоклассовый интерес пролетариата наделяется тем же качеством *универсальности*, которое, по Руссо, принадлежало общей воле в силу ее природной обусловленности. (К слову сказать, классовый интерес буржуазии трактуется Марксом в том же духе: на известном этапе истории он становится формой выражения общечеловеческого интереса.)

Способ аргументации Маркса, таким образом, существенно отличается от способа аргументации Руссо. Но хотя их модели социальной реальности различны, это различие не исключает совпадения ряда фундаментальных предубеждений. Марксу общество не представляется природным организмом, но он рассматривает его как некую специфическую целостность, законы развития которой периодически выводят на авансцену истории различные социальные классы. Здесь усматривается любопытная параллель с гегелевской философией истории и его концепцией исторических наций¹². Маркс исторических наций не признает, зато он признает исторические, т. е. исторически прогрессивные, по его терминологии, классы.

Такая трактовка исторической роли общественного класса (или нации) покажется произвольной всякому, кто не разделяет философию истории Маркса (или Гегеля). Номиналистически ориентированный мыслитель отнесет ее на счет субъективных предпочтений Маркса. Но дело в том, что сам Маркс отнюдь не номиналист. Его философия истории заставляет наделять классовый интерес свойством универсальности. Как бы ни критиковал Маркс идеалистические воззрения на историю, проблема смысла истории для него отнюдь не лишена содержания. В истории он усматривает объективный смысл и объективное назначение. Это станет ясно каждому, кто удосужится прочесть его гневные филиппики по поводу утраты человеком собственной сущности в обществе отчуждения¹³.

Порой такая позиция приводит его к весьма парадоксальным выводам в духе реализма. Так, прочитав «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», можно узнать, что классовые интересы буржуазии Марксу известны лучше, чем самой буржуазии, которая может быть и недальновидной, и недостаточно классово солидарной. По сути дела, тот же смысл имеет и известное различие между классом «в себе» и классом «для себя». Социальные объекты, по Марксу, не сами определяют свой классовый интерес и свою историческую миссию. Она определяется за них и для них объективным ходом истории¹⁴.

Поэтому классовая позиция и классовая политика должны вытекать не из субъективных предпочтений составляющих класс индивидов (в этом случае они останутся классом «в себе», неспособным на самостоятельное социальное действие), а из научного анализа хода исторического развития. Логическая невозможность обращения с подобным требованием к малообразованным народным массам (к образованным, но не усвоившим марксистской концепции исторического процесса, впрочем, тоже) побудит со временем В. Ленина разработать целую теорию «революционного авангарда», большевистской партии, разъясняющей пролетариату его истинные интересы и организующей его на борьбу за эти интересы¹⁵. Руссоистская оппозиция общей воли и суммы эмпирических частных

¹² См. Гегель Г. В. Ф. Философия истории. Сочинения. Т. VIII. М.-Л., 1935.

¹³ Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 42. М., 1974.

¹⁴ См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 8. М., 1957, с. 119, 192.

¹⁵ Противоречивость такого отношения к народу была отмечена С. Булгаковым: «В своем отношении к народу, служение которому своею задачей ставит интеллигенция, она постоянно и неизбежно колеблется между двумя крайностями — народопоклонничества и духовного аристократизма. Потребность народопоклонничества в той или другой форме ... вытекает из самых основ интеллигентской «еры». Но из нее же с необходимостью вытекает и противоположное — высокомерное отношение к народу как к объекту спасительного воздействия, как к несовершеннолетнему, нуждающемуся в няньке для воспитания «сознательности», непросвещенному в интеллигентском смысле слова». См. Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество. «Вехи. Интеллигенция в России». М., 1991, с. 75.

волений находит, таким образом, параллель в марксистской картине социальной реальности.

Таким образом, при всех различиях в мировоззрении между Руссо, Марксом и русскими идеологами «соборности» установки всех этих мыслителей совпадают в одном существенном моменте: воля социальных субъектов признается объективно детерминированной, «заданной». Допускается возможность несовпадения этой объективной воли с эмпирическими устремлениями составляющих эти коллективные субъекты индивидов. Неудивительно поэтому, что на уровне политического поведения указанные предустановки срабатывают сходным образом, что, несомненно, облегчает взаимную адаптацию столь разных концептуальных схем. А это, в свою очередь, помогает объяснить парадоксальный факт наложения марксистского революционного мировоззрения на традиционное русское политическое сознание.

Советы и партия

Для различных пластов российской политической культуры XIX — начала XX века — консервативного, народнического, революционного — была характерна критика парламентской демократии и идей либерализма с позиций соборности. Как справедливо отмечает историк А. Валицкий, консерваторы и социалисты «соперничали друг с другом в дискредитации либерализма, в редуцировании его идеалов к корыстному обману или самообману». Это препятствовало развитию политической культуры в стране¹⁶. Либерализм и парламентаризм связывались с капиталистической перспективой, которая казалась равно отвратительной консерваторам, революционерам и значительной части народа.

Наиболее активная революционная сила — большевики — противопоставила самодержавной монархии не парламентскую республику западного образца, а совсем иной тип политической системы. Речь идет о *прямой демократии*, идея которой периодически овладевала умами европейских революционеров, но все попытки воплощения которой в действительность неизбежно кончались провалом. В России такая форма власти возникла во время революции 1905—1907 годов, когда были созданы Советы рабочих депутатов. На нее и была сделана ставка в предстоящей революции.

Социалистическая революция свершилась в России под лозунгом «Вся власть Советам!». Зная о том, какая участь ждала Советы, поневоле удивляешься той настойчивости, с которой российские революционеры требовали в 1917 году передачи всей полноты государственной власти этим органам, и той серьезности, с которой они относились к этому лозунгу, то выдвигая его в качестве основного политического требования момента, то снимая из тактических соображений и в ожидании лучших времен. Создается впечатление, что в 1917 году требование передачи власти Советам имело особый смысл, впоследствии утраченный¹⁷.

«Триумфальное шествие советской власти» продолжалось недолго: новая власть очень скоро продемонстрировала свою полную неэффективность, став одним из решающих факторов быстрой дезинтеграции государства. Вряд ли есть смысл доказывать, что система Советов мало соответствовала идеалам демократического правления — это достаточно очевидно. Очевидно, впрочем, и то, что она никогда и не мыслилась в качестве такового. Для ее оценки особый интерес представляет написанная Лениным летом 1917 года в полуподполье большая работа «Государство и революция». Поразительно, что в этой — программной, по замыслу — работе Ленин не предпринимает никаких попыток обобщить и про-

¹⁶ В а л и ц к и й А. Нравственность и право в теориях русских либералов конца XIX — начала XX века. «Вопросы философии», 1991, № 8, с. 28.

¹⁷ С м. К а р р Э. История Советской России. Большеви́стская революция. 1917—1923. М., 1990.

анализировать опыт работы Советов рабочих депутатов, накопленный в 1905 и 1917 годах, и ничего не пишет о том, как функционировали или как должны функционировать учреждения советской власти.

На все лады варьируя тему о том, что всякая государственная власть есть и должна быть диктатурой и что вопрос заключается лишь в том, диктатура какого класса будет осуществлена в данном государстве, Ленин остается совершенно равнодушным к конкретным проблемам государственного строительства. Его интерес сосредоточен не на механизмах, а на самом факте власти. В работе не только нет ответа на вопрос о том, как должна быть устроена пролетарская власть, нет даже самого вопроса. Насколько можно понять, для автора он представлялся абсолютно несущественным. Если Ленин и говорит что-то об устройстве государственной власти, он озабочен только одним: доказать абсолютную необходимость слома старой государственной машины. Неспособность или нежелание пойти на такой слом он расценивает как колоссальную политическую ошибку, если не как предательство. Техника власти интересует его исключительно, так сказать, в *негативном* плане, позитивная разработка проблемы в его работе отсутствует.

Ленин хочет создать такие механизмы государственной власти, которые обеспечили бы классовое господство и реализацию интересов пролетариата. Но он, кажется, считает вопрос исчерпанным постольку, поскольку обеспечен *количественный* перевес представителей рабочего класса в органах власти. Так как советы, по определению, создаются рабочими промышленных предприятий, пролетарский характер советской власти гарантирован. По сути дела, данный ход рассуждений выявляет уже знакомую нам «соборную» установку — с поправкой на новое понимание «народа». Место «народа» в мировоззрении большевиков занял, как справедливо отмечал еще Бердяев, «пролетариат»¹⁸. И теперь пролетариям достаточно собраться вместе на свой Совет, как их проблемы будут решены, а их нужды обеспечены.

На первый взгляд может показаться удивительным, что эту точку зрения в 1917 году отстаивает тот самый человек, который в 1902 году решительно возражал против ориентации на «стихийное» рабочее движение. Судя по тому, что он писал в «Что делать?» пятнадцатью годами раньше, Ленин тогда не верил, что неграмотные, задавленные нуждой и эксплуатацией рабочие способны видеть, так сказать, дальше собственного носа. Он настойчиво доказывал, что пролетариат, предоставленный сам себе, да к тому же одураченный буржуазной пропагандой, не в состоянии подняться над своими сиюминутными проблемами и осознать свой подлинный классовый интерес. Понимание своей исторической миссии, задачи овладения государственной властью у пролетариата отсутствует. Оно может быть привито ему только передовой революционной интеллигенцией, которая и вырабатывает революционную теорию. Пролетариат нуждается, таким образом, в руководстве; его руководителем должна стать «авангардная партия рабочего класса», с идеей создания которой Ленин носился в начале века и которую ему удалось в конечном счете создать и привести к власти.

Можно предполагать, таким образом, что революционная власть с самого начала задумывалась и понималась Лениным как власть большевистской партии. Советы представлялись ему учреждениями, с помощью которых эту власть будет проще установить и удержать. По его мысли, именно большевики должны были стать теми «рабочими депутатами», которые призваны осуществлять власть от имени пролетариата и обеспечивать его интересы. Представители других партий на эту роль не годились и, после того как это станет ясно рабочим, должны были из Советов уйти (или быть изгнаны).

Но почему, спрашивается, нельзя добиваться большинства в парламенте теми же методами, что и в Советах? Дело было не только в тактических соображениях, связанных с расстановкой политических сил и преобладанием в стране крестьян-

¹⁸ См. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма, с. 88—89.

ства, тяготевшего к эсерам. Большевиков не устраивали сами парламентские процедуры, поскольку они противоречили установке на партийное руководство массами. Весь замысел строительства социализма рушился, если судьба преобразований ставилась в зависимость от исхода тех или иных выборов, того или иного голосования в парламенте. Поэтому есть все основания предполагать, что если бы большевики и добились большинства в Учредительном собрании или ином представительном органе парламентского типа, они постарались бы превратить его в такое же декоративное учреждение, в какое превратили столь любимые ими Советы. Ведь в конце концов конституция 1936 года, изменив избирательную систему, формально преобразовала Верховный Совет в двухпалатный парламент со всеми атрибутами представительного института. Но его истинное место в политической системе советского общества не претерпело сколько-нибудь существенных изменений. Большевикам нужен был не парламент, а собор. Парламент призван осуществлять государственную власть, собор — *символизировать* ее.

Теоретически система Советов мыслилась как альтернатива «буржуазной» системе разделения властей: Советы рассматривались как средоточие не только законодательной, но и исполнительной власти¹⁹. С одной стороны, тем самым воплощалась в жизнь столь любезная сердцу многих демократов концепция прямого народовластия²⁰. Но, с другой стороны, неизбежным следствием этого был полный паралич системы иерархической подчиненности. Поскольку каждый Совет создавался как орган прямой демократии и, следовательно, обладал всей полнотой власти на своей территории или, выражаясь языком буржуазной политической науки, «суверенитетом», он неминуемо вступал в конфликт с другим Советом, чья юрисдикция распространялась на ту же территорию, т. е. с Советом более (или менее) высокого уровня. В такой ситуации единственным выходом было бы разграничение полномочий Советов разного уровня. Но, во-первых, это означало бы отход от принципа полновластия Советов и, следовательно, изменение способа легитимации власти, что, в свою очередь, предполагало ломку коренных установок массового сознания. Во-вторых, пришлось бы менять саму систему формирования Советов, а это существенно ограничило бы возможности манипулирования выборами, т. е. было нежелательно с чисто прагматической точки зрения²¹.

При такой системе, однако, и формально юридически, и с точки зрения здравого смысла съезды Советов могли обладать лишь теми полномочиями, которые делегировались им формировавшими их Советами. И если для решения какого-то вопроса требовались более широкие полномочия, их приходилось узурпировать. Нет нужды объяснять, насколько часто возникали такие — выходящие за рамки локальных — проблемы и насколько неэффективной, следовательно, оказывалась вся система. И нет ничего удивительного в том, что она — несмотря на преклонение перед лозунгами и символами, в том числе закрепленными в официальном названии государства — оказалась столь эфемерной²². Если бы

¹⁹ См. Ленин В. И. Десять тезисов о советской власти. Полн. собр. соч., т. 36. М., 1969.

²⁰ «Социалистический характер демократизма Советского... состоит... в том,— писал Ленин,— что всякие бюрократические формальности и ограничения выборов отпадают, массы сами определяют порядок и сроки выборов...» («Очередные задачи Советской власти». Полн. собр. соч., т. 36, с. 203). К вопросу о том, какую роковую роль в судьбе представительных институтов сыграл этот отказ от «бюрократических формальностей», мы еще вернемся.

²¹ Напомним, что первоначально прямые выборы (насколько их вообще можно было назвать выборами) практиковались лишь в советах низшего звена. Советы более высокого уровня (съезды Советов) формировались делегированием депутатов от Советов низшего уровня. Тем самым выборы превращались в многоступенчатые, что противоречило, конечно, классической теории демократии (которую большевики, правда, ни в грош не ставили), зато позволяло организаторам выборов эффективно влиять на их исход.

²² Красноречивые свидетельства того, как в действительности понимали большевики «полновластие» Советов на местах, обильно рассыпаны в телеграммах, которые Ленин рассылал в период гражданской войны. Вот одно из наиболее характерных: 15 апреля 1920 года Ленин предложил саратовской Губчека «...арестовать на трое суток председателя Камышинского исполкома за недопустимое вмешательство в ход продработы...» (Полн. собр. соч., т. 51, с. 179).

начавшаяся вскоре после октябрьского переворота гражданская война не привела к дезинтеграции государства, тот же результат незамедлительно наступил бы при попытке реально воплотить в жизнь лозунг, под которым переворот был осуществлен — «Вся власть Советам!».

Эволюция советской власти в «декоративном» направлении началась, по сути дела, сразу после ее утверждения. Советская система существовала и действовала лишь постольку, поскольку за кулисами Советов существовала и действовала иная политическая структура, с Советами как таковыми ничего общего не имевшая — система партийной власти. Именно в рамках партийной иерархии разрешались те конфликты, которые не в состоянии была разрешить *иерархически аморфная* система Советов. Именно партийные органы осуществляли то реальное согласование местных интересов с общегосударственными или, точнее, обеспечивали то подчинение местных властей общегосударственной власти, без которого страна не могла существовать как единое целое²³.

Система Советов обречена была превратиться в ширму партийного господства вследствие полной несостоятельности того принципа, который был положен в ее основу. Подобная система не может работать нигде и ни при каких условиях, если имеется в виду, что она должна работать всерьез, а не в качестве декораций. Зато в этом последнем качестве она выглядела более чем импозантно. «Представительность» наших Советов, нелишнее напомнить, всегда была предметом «законной» гордости тех, кто их формировал. В них было ровно столько женщин, комсомольцев, коммунистов, беспартийных, писателей, сталеваров, ветеранов войны, русских, украинцев, чеченцев, якутов, евреев и т. д. и т. п., «*сколько нужно*». Но при этом ни женщины, ни комсомольцы, ни ветераны, ни сталевары, ни якуты, ни даже сами коммунисты никогда не имели возможности делегировать в Советы тех, кого они хотели. Выборы были фикцией, в действительности осуществлялся подбор депутатов, и эта манипулируемая система легко принимала любую заранее заданную форму.

Поскольку эволюция такого рода в ретроспективе представляется более или менее неизбежной, неизбежны были, судя по всему, и те следствия институционального характера, которые из нее вытекали. Отметим только три, Во-первых, в этих условиях система партийного господства довольно быстро обретала легитимность. Этот процесс завершился к середине 20-х годов. Со временем, к 70-м годам, партийная власть была признана в качестве законной и за рубежом. Если Н. Хрущеву как главе партии еще приходилось вести дипломатическую борьбу — причем без особого успеха — за статус главы государства, то во времена Л. Брежнева генеральный секретарь ЦК КПСС признавался таковым независимо от того, занимал он государственный пост соответствующего ранга или нет.

Во-вторых, сама коммунистическая партия из политической партии быстро превращалась в чисто административную структуру. Скоро она стала — и теории, и на практике — стержневым элементом политической системы, реальным инструментом управления страной. Это, в свою очередь, влекло за собой установление однопартийной системы: запрет на деятельность всех других партий был логическим следствием того, что поле легитимного партийного соперничества было уничтожено, и приход к власти альтернативной политической партии необходимо предполагал установление контроля над аппаратом партии правящей, т. е. был мыслим лишь в качестве внутрипартийного переворота. Столь

²³ В речи, с которой Ленин выступил на заседании Московской общегородской конференции РКП(б) 18 января 1919 года, он ополчился против «местнических интересов, которые, как видно, и вызывали оппозицию против централизма, являющегося, однако, единственным выходом из нашего положения» (Полн. собр. соч., т. 37, с. 428). В издательском примечании отмечается: «Конференция решительно высказалась против попыток умалить права партии по отношению к фракциям Советов» (там же, с. 616).

же логичным было в этих условиях и выхолащивание тех — и без того немногочисленных — элементов внутривластной демократии, которые еще сохранялись с дореволюционных времен: внутри административного аппарата для институционализированной оппозиции места нет и быть не может. Задача эта оказалась, впрочем, не слишком сложной: приверженность демократическим процедурам была не в традициях конспиративной подпольной организации.

Характерно, однако, хотя и может показаться парадоксальным, что первые шаги в направлении политического плюрализма имели место все-таки не где-нибудь, а именно в партийных организациях, поскольку только там сохранившиеся формально демократические процедуры (выборность всех должностных лиц и их подотчетность) могли быть противопоставлены закулисным структурам принятия решений — они сами были этими закулисными структурами.

Наконец, в-третьих, как неперемное условие существования этого партийно-государственного монстра сложилась одиозная система номенклатуры: лишь постоянный партийный контроль за выдвижением и назначением практически на все сколько-нибудь влиятельные посты и должности во всех сферах деятельности мог обеспечить бесперебойное функционирование механизмов власти²⁴.

Правомерен, однако, вопрос, почему система советской власти, в основу которой также были положены — пусть ущербные — принципы выборности и представительства, не эволюционировали в направлении если не представительной демократии, то хоть какого-нибудь плюрализма? Пусть эта система оказалась неэффективной, пусть она не могла не оказаться неэффективной, но почему не нашлось альтернативы превращению ее в ширму партийной власти? Для ответа на этот вопрос необходимо вновь обратиться к той псевдодемократической модели соборного народовластия, которая рассматривалась в начале статьи и которая, как теперь ясно, в измененном виде была положена в основу советской системы.

В свое время триединая формула официальной политической доктрины николаевской России «православие, самодержавие, народность» часто оказывалась под огнем и критики, и насмешек. Не все критики, однако, чувствовали ее внутреннюю конгруэнтность, тесную связь между составлявшими ее элементами. Народность, конечно, можно трактовать по-разному; так оно, собственно, и было. В России были народники-консерваторы и даже реакционеры, были народники-революционеры. Были народники — сторонники самодержавия, были народники — борцы с самодержавием. На деле модель соборного народовластия не только исторически связана с ориентацией на неограниченную авторитарную власть, но и логически предполагает такую власть и порождает ее. В свое время это, видимо, чувствовали славянофилы, хотя конкретное обоснование необходимости самодержавия приобретало у них порой весьма экзотический характер²⁵.

Во внутренне нерасчлененной тотальности всеобщего собора механизмы выработки форм коллективных, «соборных» действий отсутствуют по определению. Соборность в понимании большинства русских мыслителей есть явление духа; к мирским делам она приспособлена плохо. Поэтому политическая соборность, соборность как политический лозунг и идеал, не воплощается непосредственно в системе каких-то властных учреждений, а реализуется и функционирует как *духовный фундамент* отделенной от народа и противопоставленной ему власти.

Власть должна действовать — всеобщий собор действовать не может: он лишен соответствующих органов. Создание же таких органов предполагает

²⁴ См. Восленский М. С. Номенклатура: господствующий класс советского общества. М., 1991.

²⁵ Славянофилы, как известно, верили в особое предназначение русского народа, историческая миссия которого лежала, однако, в чисто духовной сфере. Занятия политикой, неизбежно греховные, были несовместимы с этой миссией, хотя и оставались необходимым компонентом общественной жизни. Самодержавная власть царя, по мнению некоторых идеологов этого направления, была выходом из этого противоречия. Царь брал на себя всю полноту политической власти и связанную с этим ответственность. Он брал на свою душу грех власти, избавляя от него русский народ. При таком понимании самодержавие выступало как зло, но зло необходимое, оправданное особой исторической судьбой русского народа.

дифференциацию и потому отвергается как противоречащее самой идее соборности. Поскольку органы действия все же должны быть созданы, они создаются не внутри, а *за пределами* собора. Существующая социальная дифференциация маскируется при этом формальным равенством всех перед деспотической властью. Подобное равенство иллюзорно, зато вполне реальна та власть, обоснованием и оправданием которой оно служит.

Дело, таким образом, не просто в том, что Советам «не повезло», что они не сумели удержать власть, что власть ускользнула из их рук и ее подхватили другие. Дело в том, что советская система создавалась людьми и для людей, соборные установки которых не только не исключали существования внешних по отношению к Советам властных структур, а, напротив, заведомо предполагали их.

По завершении гражданской войны недовольство советской системой стало овладевать даже ее творцами. Интересна в этом отношении эволюция взглядов Ленина на природу советской власти от «Государства и революции» к поздним работам — так называемому «политическому завещанию». В его взглядах произошел кардинальный сдвиг. Если пафос первой составляет апологетика Советов, замешанная на идее соборности, то в последних мы знакомимся с критикой советской власти, которая, пожалуй, граничит с «антисоветчиной». С одной стороны, советская власть клеймится как бюрократическая, с другой — налицо четкое понимание того, что партия оказалась абсолютно бесконтрольной²⁶. В качестве средства излечения от болезни «комчванства» выдвигается идея создания Рабрина и предлагается резко расширить состав центрального комитета партии за счет включения в него большого числа рабочих.

Но понимание определяющей роли процедур в деятельности государства к Ленину так и не пришло: он по-прежнему мыслил в категориях персонального состава тех или иных органов. Отсюда довольно наивное предложение предотвратить борьбу за власть между ведущими лидерами партии с помощью нескольких десятков рабочих, которые будут введены в ЦК и составят там, естественно, большинство. Ленин, похоже, искренне не понимал, что наличие в ЦК этих «декоративных» или «буферных» членов не сделает его демократическим органом и может, в лучшем случае, лишь изменить условия борьбы (скорее всего, в пользу тех, кто сильнее: оно просто облегчит им расправу с теми, кто слабее). Характерно при этом, что упорно сохраняющаяся вера в способность кухарки управлять государством сочеталась у Ленина с ясным пониманием того, что сама по себе «отдельно взятая» кухарка по причине своей «бескультурности» неизбежно превратится в бюрократа, и управление ее, скорее всего, ни к чему хорошему не приведет. Но вот если собрать вместе сто кухарок, полагал Ленин, успех обеспечен. Здесь мы, похоже, имеем дело с мифологемой — глубоко укорененным убеждением онтологического характера, перед которым бессильны и логические доводы, и ссылки на факты.

Сила И. Сталина заключалась, в частности, в том, что он понял или интуитивно уловил то, чего так и не сумел понять Ленин,— определяющую роль институциональных механизмов в процессе создания и функционирования властных структур. Может быть, поэтому Ленин и проиграл свою последнюю политическую партию (и должен был провести последний год своей жизни под почетным арестом). В отличие от Ленина Сталин вполне сознательно создавал (сохраняя

²⁶ В речи на Московской губернской конференции РКП(б) 21 ноября 1920 года Ленин прямо заявлял о том, что «бюрократизм возродился и нужна систематическая борьба против него». Более того: «...возродившийся в советских учреждениях бюрократизм не мог не оказать тлетворного **влияния** и среди партийных организаций, так как верхушки партии являются верхушками советского аппарата: это одно и то же» (Полн. собр. соч., т. 42, с. 32). Читатель обратит внимание на то, что источником «тлетворного влияния», захватившего партийные организации, объявляются «советские учреждения», в которых «возродился бюрократизм».

советско-социалистическую риторику) контролируемые механизмы власти. Этой задаче отвечало сохранение Советов как символа социалистического выбора, легитимирующего действия партийного руководства. Но за Советами, а по существу над ними, выростала теневая власть партии²⁷. Успех этой рокировки во властных структурах был обусловлен не только недееспособностью Советов, но и действенностью маскировавшей ее риторики, что, в свою очередь, объясняется, по-видимому, тем, что сама риторика копировала социально-онтологические предубеждения массового сознания, от которых, в частности, так и не сумел освободиться Ленин. Не будь этих установок, сталинская риторика была бы бессильна. Но она сработала, и Сталину удалось все же решить — весьма варварскими методами — задачу создания системы политического управления в данной социальной среде.

Если политические и социальные реформы, предложенные Лениным в 1921 году (нэп), означали, в сущности, отказ от полного контроля партийно-государственного руководства за всеми аспектами общественной жизни и всеми социальными группами в стране, то ликвидация нэпа может рассматриваться как повторная — и на этот раз удачная — попытка такой контроль установить. Сталину удалось разрешить эту головоломку. Тоталитарное общество было создано, идея соборности со всем ее антидемократическим содержанием воплотилась в действительность.

Воздействие этой идеи показывает неизменная и безотказная демонстрация единства при голосовании в Советах — то, что впоследствии получило хлесткое прозвище «одобрямс». Трудно допустить, что за все годы существования Верховного Совета СССР ни у одного депутата ни разу не было основания или не появилось желания проголосовать по какому-то вопросу против большинства. Такие ситуации, наверняка, возникали, тем более, что значительную часть депутатского корпуса составляли отнюдь не марионетки или какие-то декоративные «представители», введенные в парламент исключительно для приличия. Среди депутатов было много по-настоящему влиятельных людей: крупные государственные чиновники, военные, партийные функционеры самых высоких рангов, наконец, известные в стране и уважаемые представители свободных профессий. Это была национальная элита.

Между этими людьми, конечно, существовали различия во взглядах и интересах. Им приходилось выработать консенсус и каким-то образом находить взаимоприемлемые решения. Но ареной этой деятельности никогда не был Верховный Совет. И если составлявшие его депутаты спорили и ссорились друг с другом, это всегда было вне его стен. В самом Верховном Совете неизменно демонстрировалось трогательное согласие по всем вопросам; депутаты как будто проникались желанием показать всему миру и, может быть, прежде всего самим себе, что в главном они едины. Здесь даже те, кто был против, непременно голосовали «за». Тем самым Верховный Совет не без успеха выполнял свое основное назначение, рассчитанное отнюдь не только на пропагандистский эффект за рубежом: эффективно поддерживал миф о монолитном единстве советского народа, сплотившегося вокруг Коммунистической партии и одухотворенного высшей истиной — идеями научного коммунизма.

Это «соборное» единение выражало глубоко укорененные в российской политической культуре представления о том, что такое народ и в чем суть народного представительства. Сам термин «соборность», как уже отмечалось, не

²⁷ Чрезвычайно характерна в этом отношении работа Сталина «К вопросам ленинизма» (январь 1926 года). В ней традиционные реверансы в адрес советской власти неожиданно сменяются анализом «приводов» и «рычагов» пролетарской диктатуры, и тогда выясняется, что подлинное место Советов — между профсоюзами и кооперацией. В этом списке партия оказывается, правда, на последнем месте, но лишь по порядку, а не по значению: она-то и есть «основная направляющая сила в системе диктатуры пролетариата, призванная руководить всеми этими массовыми организациями» (см. «Вопросы ленинизма». М., 1941, с. 120—121). Вот так — ни больше, ни меньше: мы-то думали, что Советы — органы государственной власти, а это, оказывается, «массовая организация»!

звучал никогда: в нем было слишком много невольных ассоциаций с дореволюционным прошлым, четко прослеживались и православные мотивы. Официальным идеологическим клише, заменившем столь любезную российским философам конца XIX — начала XX века соборность, стала *бесклассовость*. Марксизм вновь оказался как нельзя более кстати. Для социолога марксистская парадигма социального анализа определяется прежде всего акцентом на классовый дифференциации. Но в основу советского массового политического сознания была положена не *теория* марксизма, а марксистский *миф* — миф о пролетариате, которому нечего терять, кроме своих цепей, и который, преследуя свой классовый интерес, не только уничтожает себя как класс неимущих наемных рабочих, но тем самым устраняет навсегда и само деление общества на классы. С ликвидацией такого деления реализуется идеал *народного единения* и легитимизируются соответствующие ему политические институты.

В рамках этих институтов несогласие с мнением большинства есть не просто естественное, хотя, может быть, и досадное следствие различия интересов или убеждений, а именно и прежде всего демонстрация несогласия с Правдой, воплощающей в себе народное представление об истине и справедливости. Такое поведение неприемлемо, ибо разрушает базовый миф политической культуры²⁸. Депутат должен был понимать, что, голосуя против, он противопоставляет себя не сторонникам предлагаемого решения, а всему народу и его Правде. Тем самым он разоблачал себя как скрытого «врага народа» и предателя. Миф требовал исторгнуть отщепенца. Это исторжение могло осуществляться в разных формах. Насколько глубоко был укоренен в культуре этот миф, свидетельствует то, что уже после прекращения кровавых сталинских репрессий потребовались тридцать пять лет, прежде чем в советском парламенте нашелся депутат, решившийся нарушить правила игры и выразить в ходе голосования свое несогласие с предложенным решением. Какой же срок может потребоваться для трансформации политической культуры российского общества на демократической основе, для создания прочной базы развития парламентаризма в России?

²⁸ Концепция «базового» мифа политической культуры разработана Р. Таккером (см. Tucker R. Political Culture and Leadership in Soviet Russia: From Lenin to Gorbachev. New York — London 1987 p.22).